



ГЛУБЖЕ ЧЕМ МОРЕ 2

18+

АННА ЛОШЕРЪЕ

18+

Анна Лошерье
Глубже чем море 2

«Автор»

2026

Лошерье А.

Глубже чем море 2 / А. Лошерье — «Автор», 2026

Пять лет назад Ника Соколова поднялась не на ту яхту — и встретила мужчину, который изменил её жизнь. Теперь ей тридцать один, у неё докторская степень и собственный научный центр «Меридиана» на лигурийском побережье. Всё под контролем — пока в списке инвесторов не появляется одно имя: Алекс Вэйн. Тот самый. Мужчина, с которым они не расстались, а просто растворились друг в друге наоборот — два континента, две карьеры, гордость и молчание длиною в три года. Им снова работать вместе. Притворяться перед прессой, что между ними только цифры. Но старая химия возвращается мгновенно — тело помнит раньше головы, на сорока метрах глубины и в четыре утра. А за притяжением встаёт то, чего они избегали: разговор о вечере, который всё сломал. О ребёнке, которого не случилось. И о тайне Алекса, способной разрушить главное достижение Ники — и её саму. Можно ли получить второй шанс, если первый ты сжёг собственными руками? Страстный, выстраданный роман о любви, которая глубже моря.

© Лошерье А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 3. Открытие	15
Глава 4. Условия	19
Глава 5. Трещина в смете	22
Глава 6. Сорок метров истории	25
Глава 7. Посидония	28
Глава 8. Правила	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Анна Лошерье

Глубже чем море 2

Анна Лошерье

ГЛУБЖЕ ЧЕМ МОРЕ

Книга 2

Современный любовный роман

Серия «Глубже чем море»

АННОТАЦИЯ

«Меридиана» — океанариум, который Ника Соколова строила четыре года: два миллиона литров воды, лучшая в Европе морская лаборатория, дело всей её жизни на Лигурийском побережье. За три дня до открытия в списке инвесторов появляется строчка, которую она не хотела видеть никогда, — Wayne Holdings. Человек, которого она когда-то любила и который однажды уже разбил ей сердце, возвращается под видом платинового партнёра. У Ники есть правила: не прикасаться, не вспоминать, не любить снова. У Алекса Вэйна — деньги, молчание и тайна, способная разрушить всё, что она построила. Пока на «Меридиану» надвигается враг, а под водой гибнет редкая посадочная, им предстоит понять: глубже моря бывает только то, что мы скрываем друг от друга. История о доверии, гордости и любви, которую невозможно утопить.

* * *

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление собирается автоматически: ПКМ → «Обновить поле» (или F9).

Глава 1. Не

тот гость

Говорят, что прошлое не возвращается. Что это просто фигура речи, метафора, удобная ложь, которую мы рассказываем себе, чтобы спать спокойно.

Это неправда.

Прошлое возвращается. Я знаю это точно, потому что моё вернулось ко мне в форме одной строчки в файле Excel — в третьей колонке, четырнадцатой сверху, набранное тем же безликим шрифтом, что и все остальные имена. Без предупреждения. Без выделения. Без той драматической паузы, которой такие вещи, по-хорошему, заслуживают.

Просто строчка.

Wayne Holdings — Platinum Partner — подтверждено.

Но об этом — чуть позже.

Сначала нужно сказать, что в то утро всё шло идеально. А когда у меня всё идёт идеально, это всегда — всегда — означает, что вселенная просто разбегается для удара.

За три дня до открытия центра «Меридиана» Лигурийское побережье пахло так, как пахнет только в конце мая: разогретым камнем, солью, кипарисом и тем особым электричеством, которое появляется в воздухе перед большим событием. Я стояла на смотровой галерее главного корпуса, на высоте двенадцати метров над уровнем моря, и смотрела вниз, в сердце того, что строила четыре года.

Главный аквариум.

Два миллиона литров. Толща воды цвета, для которого в русском языке нет точного слова, — между сапфиром и тенью, между «слишком красиво, чтобы быть правдой» и «больно смотреть». Сквозь акриловую стену толщиной в полметра проплывала стая ставриды, поворачивая разом, как одно живое серебряное полотно, и свет ломался на их боках и рассыпался по бетонному полу галереи дрожащими пятнами.

Я провела ладонью по холодному стеклу перил.

Четыре года. Четыре года я шла к этому моменту — через проектные комитеты, через экологические экспертизы, через двенадцать версий бюджета, каждая из которых была оптимистичнее предыдущей и враждебнее реальности, через ночи, когда я засыпала на диване в кабинете под гул насосов и просыпалась с отпечатком клавиатуры на щеке.

И вот оно стояло передо мной. Настоящее. Дышащее. Моё.

— Ты опять разговариваешь со ставридой, — сказала Виттория.

Я не обернулась.

— Я не разговариваю со ставридой.

— Ты шевелишь губами.

— Я думаю. Губами. Это разные процессы.

Виттория Ринальди подошла и встала рядом, опершись локтями на перила, — и одним этим жестом умудрилась выглядеть так, будто галерея научно-исследовательского центра была подиумом, а планшет в её руках — клатчем от какого-то дома, название которого я бы всё равно не выговорила. У Виттории был дар. Из любого помещения она делала пространство, которое ей принадлежало. Я наняла её три года назад начальником штаба, потому что мне нужен был человек, который умеет то, чему я так и не научилась: входить в комнату, полную мужчин в костюмах, и не чувствовать себя самозванкой.

Иногда я думала, что она — это я, если бы я родилась с другим набором инстинктов.

— Открытие через три дня, — сказала она.

— Я в курсе.

— Список инвесторов финализирован.

— Я и в этом курсе.

— Хорошо. — Она протянула мне планшет. — Тогда тебе понравится колонка «подтверждено».

Вот тут, наверное, и закончилось то идеальное утро. Я просто ещё не знала об этом. Так всегда и бывает: катастрофа уже произошла, файл уже открыт, строчка уже там — а ты ещё стоишь, улыбаешься рыбам и думаешь, что самое трудное позади.

Я взяла планшет.

Список я знала наизусть. Это была моя работа — знать наизусть людей, которые решают, будет ли жить то, что я построила. Министерство. Региональный совет. Океанографический институт Монако. Три университета. Семья Бьянки. Фонд защиты Средиземного моря. Я скользила взглядом вниз, отмечая знакомые имена, как перебирают чётки, — почти не читая, просто касаясь —

И остановилась.

Не сразу поняла, на чём. Глаз зацепился раньше, чем мозг. Так бывает, когда идёшь по знакомой улице и вдруг что-то не так, и ты ещё не видишь, что именно, но тело уже знает: что-то сдвинулось.

Четырнадцатая строчка.

Wayne Holdings — Platinum Partner — подтверждено.

Я перечитала.

Потом ещё раз.

Буквы никуда не делись. Они стояли там, ровные и спокойные, чёрным по белому, между «Università di Genova» и «Фонд защиты Средиземного моря», как будто им там было самое место. Как будто это было нормально. Как будто за этими девятью буквами не стоял человек, которого я не видела три года, два месяца и — я не считала, я правда не считала, но цифра всё равно всплыла сама, против воли, — одиннадцать дней.

— Ника?

Голос Виттории доносился откуда-то издалека, из того мира, где утро ещё было идеальным.

— Что это, — сказала я.

Это не был вопрос. Вопросы заканчиваются вопросительной интонацией, поднимаются вверх в конце, оставляют пространство для ответа. А у меня внутри ничего не поднималось вверх. У меня внутри всё падало.

— Что — это? — Виттория наклонилась к экрану. — Wayne Holdings? Платиновый партнёр. Самый крупный частный взнос. Вошли неделю назад, я тебе говорила.

— Ты не говорила.

— Я говорила. В четверг. На планёрке. Ты кивнула.

Я кивнула. Конечно, я кивнула. В четверг на планёрке я кивала на всё — потому что в четверг у меня лопнул один из насосов в карантинном блоке, и три краснокнижных морских конька оказались в воде на два градуса теплее нормы, и я провела утро по локоть в резервуаре, и к планёрке от меня осталась оболочка, которая кивала.

Wayne Holdings.

Я смотрела на эти буквы и пыталась убедить себя, что это совпадение. Что в мире есть и другие Уэйны. Что холдинги называют в честь чего угодно — городов, основателей, любимых собак. Что нет никаких причин, ровно никаких, чтобы именно ЭТОТ Уэйн оказался именно в МОЁМ списке за три дня до открытия дела всей моей жизни.

Это, конечно, было абсурдом.

Я знала это так же точно, как знаю, что вода входит в лёгкие иначе, чем воздух. Алекс Вэйн не делал ничего случайно. Алекс Вэйн вообще не верил в случайности — он считал их браком в работе, ошибкой проектирования, дырой в системе, которую кто-то поленился закрыть. Если Wayne Holdings оказался платиновым партнёром «Меридианы», это означало ровно одно.

Он этого хотел.

— Сними его, — сказала я.

Пауза.

— Что снять?

— Эту строчку. Wayne Holdings. Убери из списка.

Виттория посмотрела на меня так, как смотрят на человека, который только что предложил вычерпать море чайной ложкой. Вежливо. С заботой. С отчётливым подтекстом «возможно, тебе нужно присесть».

— Ника. Это четыре миллиона евро.

— Я знаю, сколько это.

— Это не «строчка». Это четверть бюджета на первый операционный год. Это то, что закрывает дыру, которую оставил выход семьи Фонти после смерти Карло. Это, — она понизила голос, хотя на галерее, кроме нас и ставриды, никого не было, — это разница между «центр работает» и «центр через восемь месяцев продаёт коллекцию и закрывается».

Каждое слово было правдой. В этом и заключалась проблема с Витторией — она всегда говорила правду, и всегда в тот момент, когда правда была мне особенно неудобна.

Я отвернулась к стеклу.

Ставрида сделала ещё один оборот. Свет рассыпался по полу. Где-то внизу, в глубине, у самого основания аквариума, лежал, свернувшись в расщелине искусственной скалы, наш главный обитатель — гигантский тихоокеанский осьминог, которого технический персонал между собой звал Карло, а я — никак, потому что давать имя осьминогу, который проживёт от силы четыре года, мне казалось слишком грустным занятием для человека, который и так слишком много времени проводит, прощаясь.

Карло. Конечно, Карло.

Старик бы посмеялся.

— Откуда деньги, — сказала я.

— В смысле?

— Wayne Holdings. Как они вообще на нас вышли? Мы не размещали платиновый пакет в открытую. Это был закрытый круг. Приглашения.

Виттория помолчала. И в этой паузе я слышала больше, чем хотела.

— Они не выходили на нас, — сказала она наконец. — Они выходили на семью Фонти. Я обернулась.

— Что.

— Доля. — Она говорила осторожно, как сапёр. — Та, что висела после смерти Карло. Себастьяно полгода не мог её ни продать, ни оформить, потому что наследство в споре. И тут появляется покупатель на всё разом — выкупает обязательства Фонти перед центром и заходит как платиновый партнёр. Чисто. Быстро. Дорого. Юристы сказали — лучшее, что могло с нами случиться. Я тоже так сказала. Ты, — она сделала аккуратную паузу, — кивнула.

Я очень медленно положила планшет на перила.

Так вот как это работает. Не звонок. Не письмо. Не «Ника, нам нужно поговорить» спустя три года. Нет. Это было бы слишком просто, слишком человечно, слишком — нормально. Алекс Вэйн не возвращается в чью-то жизнь через дверь. Он покупает здание.

Он не написал мне ни строчки за три года. Зато выкупил долю в деле всей моей жизни и вписал себя в мой список платиновым партнёром, и сделал это так аккуратно, что я узнала об этом за три дня до открытия, из третьей колонки Excel, стоя над аквариумом и разговаривая со ставридой.

Это было так на него похоже, что мне захотелось засмеяться.

И заплакать.

И, может быть, утопить кого-нибудь в карантинном резервуаре, желательно — самого Алекса Вэйна, желательно — медленно.

— Сними его, — повторила я.

— Ника —

— Я найду четыре миллиона. Я найду четыре миллиона за три дня, я найду их под камнями, я найду их во сне, я продам собственную диссертацию по частям, но я не возьму ЭТИ деньги.

Виттория не двинулась. Она смотрела на меня тем долгим взглядом, которым смотрит человек, видящий гораздо больше, чем ему говорят. Виттория знала про Алекса ровно то, что знали все: что когда-то, давно, до фонда, до «Меридианы», у директора Соколовой была какая-то история с каким-то очень богатым мужчиной, которая ничем не кончилась. Подробностей она не знала. Я никому не рассказывала подробностей. Подробности я держала там же, где держу данные по неопубликованным экспедициям, — в защищённой папке, к которой нет доступа ни у кого, включая, в плохие дни, меня саму.

Но Виттория была умна. И сейчас она складывала два и два, и я видела по её лицу, что сумма ей не нравится.

— Это тот самый Уэйн, — сказала она.

Не вопрос. Утверждение. Как и у меня минуту назад.

Я не ответила. Это и был ответ.

Виттория медленно выдохнула, провела рукой по идеально гладким волосам — её единственный жест, выдающий, что она тоже человек, — и сказала очень тихо, очень спокойно, тем тоном, которым говорят с человеком, стоящим на краю:

— Хорошо. Допустим, я сниму его из списка. Допустим, ты найдёшь четыре миллиона под камнями. — Она сделала паузу. — Но ты не сможешь снять его с открытия.

— Почему.

— Потому что он уже подтвердил участие. Лично. — Виттория посмотрела на планшет, потом на меня. — Он будет здесь, Ника. Через три дня. В этом зале.

Внизу, в двух миллионах литров синевы, ставрида сделала ещё один оборот, и свет в последний раз прошёлся по моему лицу холодными дрожащими пятнами.

Три года, два месяца и одиннадцать дней.

Я всё-таки считала.

* * *

Остаток дня я провела, делая вид, что у меня нет личной жизни, личного прошлого и личной катастрофы, медленно разворачивающейся в третьей колонке Excel.

Это, к слову, навык. Серьёзный, отдельный, нигде не сертифицируемый навык — функционировать на высоком профессиональном уровне, когда внутри тебя обрушивается шахта. Я освоила его в совершенстве за последние пять лет. Думаю, если бы за это давали учёные степени, у меня была бы вторая.

Я провела дегустацию для кейтеринга и сказала, что фокачча суховата, хотя не почувствовала вкуса ни одного из двенадцати образцов. Я согласовала схему рассадки на триста человек и трижды поймала себя на том, что оставляю пустое место в первом ряду, и трижды его заполняла. Я выслушала главного инженера по поводу резервного контура охлаждения и ответила что-то настолько разумное, что он ушёл довольный, хотя я не помню ни слова из того, что сказала.

И всё это время, фоном, под всем, шёл один и тот же тихий разговор, который я вела сама с собой — старая привычка, от которой я так и не избавилась, только научилась вести его про себя, а не вслух, потому что директор фонда, бормочущий под нос, производит, как выяснилось, неоднозначное впечатление.

Это просто деньги, — говорила я себе. — Деньги нейтральны. Деньги не имеют памяти. Четыре миллиона евро не помнят Сардинию. Четыре миллиона евро не помнят, как пахла его рубашка. Четыре миллиона евро не помнят тот вечер в Бостоне.

Это просто бизнес-партнёр.

Я взрослая женщина, которая управляет организацией с бюджетом в восемнадцать миллионов и штатом в двести человек. Я выступала перед Европарламентом. Я ныряла на сорок метров. Я хоронила Карло Фонтини и на следующее утро вышла на работу, потому что было некому больше. Я могу пожать руку Алексу Вэйну на открытии, сказать «спасибо за поддержку проекта» ровным голосом и пойти дальше.

Я могу.

Проблема была в том, что я слишком хорошо знала собственное тело, чтобы ему врать. А тело уже всё решило. Тело помнило раньше головы — оно всегда помнит раньше. Я поняла это ещё на галерее, в ту секунду, когда прочитала строчку: руки выдали меня первыми. Большой палец сам нашёл тонкий белый шрам на левой ладони — от кораллового пореза, восемь лет назад, у мыса Корсо, — и принялся водить по нему туда-сюда, туда-сюда, как делал всегда, когда я лгала самой себе.

Я заставила себя остановиться.

Сжала ладонь в кулак.

К восьми вечера центр опустел. Дневная смена ушла, ночная заступила на пост у мониторов жизнеобеспечения, и «Меридиана» погрузилась в то особое состояние, которое я любила больше всего, — когда здание принадлежало только воде и мне.

Я спустилась в главную галерею.

Свет в зале был приглушён до синих сумерек — ночной режим, имитация глубины, в которой обитатели аквариума успокаивались и начинали жить своей настоящей, неэкскурсионной жизнью. Я подошла к стеклу. Прижала к нему ладонь — ту самую, со шрамом.

В расщелине искусственной скалы, у самого дна, в зыбком синем свете медленно разворачивался осьминог.

Карло.

Я смотрела, как он перетекает по камню — восемь рук, ни одной кости, чистая воля и чистая мысль, существо, которое решает задачи, которое узнаёт лица, которое, если верить последним работам, видит сны. Он подплыл к стеклу с той стороны и завис напротив моей ладони, и один глаз — золотисто-горизонтальный, древний, нечеловеческий и почему-то очень понимающий — остановился на мне.

— Ну вот, — сказала я вслух.

Старая привычка. Здесь, по крайней мере, меня никто не слышал. Кроме осьминога. А осьминог умел хранить секреты — лучше, чем все люди, которых я знала.

— Он возвращается.

Карло сменил цвет. Едва заметно — от красновато-бурого к более бледному, прохладному оттенку, рябь прошла по коже, как тень облака по воде. Я не знала, что это значит. Никто толком не знает, что это значит. Может, любопытство. Может, ничего. Может, просто свет.

Но мне в ту секунду показалось, что он понял.

— Я знаю, — сказала я. — Я тоже не в восторге.

Я стояла так ещё долго — ладонь на стекле, между мной и осьминогом полметра акрила и восемь лет, и три года, и одна строчка в Excel. Море во мне молчало. Море снаружи, за стенами центра, за тонкой полосой ночного пляжа, тоже молчало — спокойное, тёмное, бесконечное, то самое, ради которого я отдала всё, что у меня было.

Глубже чем море, — подумала я. Так когда-то сказал мне один человек. Очень давно. На другом берегу другой жизни.

Я отняла ладонь от стекла.

На акриле остался влажный отпечаток — пять пальцев и ладонь, с тонкой светлой линией шрама посередине, — и он держался секунду, две, три, медленно тая, испаряясь, исчезая, пока стекло снова не стало чистым и холодным, как будто меня здесь и не было.

Через три дня он войдёт в этот зал.

И я понятия не имела, кем буду стоять напротив него, — директором Соколовой, которая построила всё это сама, или той девушкой с тридцатью килограммами за спиной, которая когда-то поднялась не на ту яхту и потеряла из-за этого голову.

Я выключила в галерее последний свет и пошла наверх, в кабинет, где меня ждали четыре миллиона евро, которых у меня не было, и три дня, которых мне не хватало, и одно имя, которое я так и не смогла вычеркнуть.

Прошлое не возвращается, говорят они.

Лжецы.

Глава 2. Стекло и

вода

Есть три способа войти в чужую жизнь.

Первый — через дверь. Постучать, попросить, ждать, пока тебе откроют. Самый честный. Самый медленный. Самый ненадёжный, потому что он зависит от человека по ту сторону двери, а люди по ту сторону двери непредсказуемы — особенно те, кому ты однажды дал повод эту дверь запереть.

Второй — через окно. Воспользоваться моментом, застать врасплох, проникнуть туда, где тебя не ждали. Быстро. Эффектно. И, как правило, заканчивается тем, что тебя выставляют тем же путём, каким ты вошёл, только быстрее.

И третий.

Третий способ — купить здание.

Я выбрал третий. Я всегда выбираю третий. Не потому, что он самый красивый, — он не красивый, в нём нет ничего красивого, — а потому, что он работает. А я человек, который интересуется только тем, что работает.

По крайней мере, так я говорил себе. Стоя на верхней палубе «Meridian», в восьми кабельтовых от берега, глядя на огни лигурийского побережья и на одно конкретное светящееся пятно в этих огнях — стеклянный купол, который не был похож ни на что вокруг, который висел над тёмной кромкой воды, как капля света, как что-то, что не должно было существовать и всё-таки существовало, — я повторял себе это снова и снова.

Это работает.

— Она уже знает, — сказал Дамир.

Я не обернулся.

— Знаю.

— Сегодня. Около полудня. — Дамир подошёл и встал рядом, на почтительном, годами выверенном расстоянии — достаточно близко, чтобы говорить тихо, достаточно далеко, чтобы я не чувствовал себя под наблюдением. За одиннадцать лет он научился этой геометрии в совершенстве. — Финальный список ушёл к ней утром. Ринальди показала ей. Реакцию я не знаю. Но знаю, что после этого она отменила обед и заперлась в кабинете на два часа.

— Она пыталась снять нас со списка.

Это не был вопрос.

Дамир помолчал.

— Откуда вы знаете?

— Потому что я знаю её.

Я знал. В этом и заключалась проблема — единственная, которую я за три года так и не научился решать, хотя решал задачи и посложнее, перестраивал компании, переписывал балансы, двигал капитал через границы так, что от него оставался только чистый, упорядоченный результат. Я мог сделать почти всё. Я не мог только одного: перестать знать Нику Соколову.

Знать, что она прочитала строчку и в первую секунду перестала дышать. Знать, что её большой палец нашёл шрам на левой ладони. Знать, что она сказала «сними его» — теми самыми словами, тем самым тоном, ровным и тихим, который у неё означает, что внутри всё горит. Знать, что ей это не удалось. Знать, что она провела вечер в галерее, у стекла, разговаривая с осьминогом, потому что осьминог не задаёт вопросов и не требует объяснений, в отличие от людей. В отличие от меня.

Я знал её так, как знают вещь, которую сам себе запретил. Издалека. По косвенным признакам. По отчётам.

— Вы могли войти иначе, — сказал Дамир.

И вот тут я обернулся.

Дамир редко позволял себе такое. За одиннадцать лет — может, раз пять. Он был не из тех, кто даёт советы; он был из тех, кто их выполняет, причём раньше, чем ты успеешь их сформулировать. Если Дамир что-то говорил вслух, это означало, что он считает важным сказать это вслух, — а к мнению человека, который шесть дней в неделю молчит, стоит прислушиваться, когда он наконец открывает рот.

— Как иначе, — сказал я.

— Вы могли позвонить.

Простое слово. Два слога. Позвонить.

Я отвернулся обратно к берегу. К светящемуся пятну над водой.

— Три года назад, — сказал я, — я мог позвонить. Год назад я мог позвонить. Полгода назад. — Я смотрел на купол. — В каждый из этих дней я мог взять телефон, набрать номер, который не менялся, потому что я проверял, и сказать: Ника. И что дальше, Дамир?

Он не ответил. Это был не тот вопрос, на который у него был ответ.

— Дальше — пауза, — сказал я. — Дальше она ждёт, что я объясню три года молчания. А я не умею объяснять три года молчания. Я умею строить мосты. Я не умею говорить о том, почему я их сжёг.

Море под бортом было чёрным и спокойным. Где-то внизу, под этой чёрной спокойной поверхностью, шла жизнь, которую она изучала, — тёмная, текучая, разумная, ничего общего с миром, в котором жил я. Может, в этом всё и дело. Может, я с самого начала был сушей, а она — водой, и единственное, что нас держало, — узкая полоса прибоя, на которой мы стояли те сорок два дня. А потом прилив ушёл. И мы остались каждый в своей стихии, и звонок ничего бы не изменил, потому что звонком не отменишь физику.

Так я себе говорил.

Я хорошо умел говорить себе.

— Кофе, — сказал я. — И досье по совету фонда. Реннер, Бьянки, Себастьяно Фонти. Всё, что есть. К утру.

— Уже на столе в кабинете. — Дамир сделал паузу — ровно такую, после которой обычно следовало то, ради чего он, собственно, и затевал разговор. — Алекс.

— Что.

— Зачем мы здесь.

И вот это был хороший вопрос.

* * *

Я мог бы ответить ему ложью. У меня их было несколько, отполированных, готовых к употреблению, я носил их с собой, как запасные ключи.

Это диверсификация. Морская инфраструктура — растущий сектор, государственно-частное партнёрство, налоговые преференции, репутационный капитал. Чистая правда, между прочим. Каждое слово выдержало бы проверку любого совета директоров. Джеймс именно так и описал сделку партнёрам в Лондоне — морская инфраструктура, растущий сектор, — и партнёры закивали, потому что цифры сходились.

Цифры всегда сходятся, когда не хочешь говорить правду.

Правда была проще и не сходилась ни с чем.

Полтора года назад — нет, раньше, надо быть точным, я ценю точность, — два года и три месяца назад мне на стол лёг квартальный отчёт по одному из европейских фондов, за которым я следил. Я следил за многими фондами. Это часть работы. Но за этим я следил иначе, и Дамир это знал, и я знал, что он знает, и мы оба никогда об этом не говорили.

Фонд Фонти.

В отчёте была цифра. Одна цифра — кассовый разрыв после смерти Карло Фонти и выхода семьи. Дыра, в которую через восемь, максимум десять месяцев должно было провалиться всё: исследовательская программа, штат, недостроенный центр на лигурийском берегу, в который она — я читал это в открытых источниках, я не следил за ней, я просто читал то, что публиковали, есть разница, я держался за эту разницу, — в который она вложила четыре года жизни.

Одна цифра.

Я смотрел на неё, наверное, целую минуту. А потом сделал то, что умею. Перевёл деньги. Через структуру, которая не вела ко мне, — благотворительный траст в Лихтенштейне, потом ещё один, потом фонд-прокладка, зарегистрированный так, что концов не найти без судебного ордера и большого желания. Анонимно. Без записки. Без условий. Просто закрыл дыру и стал ждать следующего отчёта.

В следующем отчёте была другая цифра. Поменьше. И ещё через квартал — ещё.

Я закрывал их по одной. Два года. Тихо. Как закрывают за собой двери в доме, где спит ребёнок.

Я никогда не считал это благотворительностью. Благотворительность — это когда ты даёшь и хочешь, чтобы об этом знали, хотя бы один человек, хотя бы ты сам в зеркале. А я не хотел, чтобы об этом знал кто-нибудь. Особенно она. Я просто не мог смотреть на цифру

и знать, что у меня есть способ сделать так, чтобы её не было, и ничего не делать. Это было выше моих сил. Это, кажется, было единственным, что было выше моих сил.

А потом умер последний барьер.

Доля семьи Фонти зависла в наследственном споре. Себастьяно Фонти, племянник Карло, человек, которого покойный держал на расстоянии вытянутой руки и, как я подозревал, не зря, не мог решить, что с ней делать, — продать, удержать, использовать как рычаг. Полгода она висела в воздухе, эта доля, и пока она висела, центр был уязвим. Кто угодно мог её перехватить. Кто угодно мог зайти через неё в её дело и начать диктовать.

И я понял очень простую вещь.

Анонимно закрывать дыры я мог бесконечно. Но защитить её на самом деле — по-настоящему, от настоящей угрозы, не от цифры в отчёте, а от человека, который хочет отнять у неё то, что она построила, — анонимно было нельзя. Чтобы защитить, надо встать рядом. А чтобы встать рядом, надо перестать прятаться.

Надо войти в здание.

— Затем, что иначе её съедят, — сказал я Дамиру.

Огни купола дрожали над водой.

— Себастьяно Фонти хочет продать землю под застройку. Тридцать тысяч квадратных метров первой береговой линии — это не научный центр, это марина и апартаменты, это четыреста миллионов девелоперской маржи, и он это видит, и совет это видит, и единственное, что стоит между этими цифрами и бульдозером, — это она. Одна. С бюджетом, в котором дыра, и репутацией, на которую уже точат зуб. — Я говорил ровно, по пунктам, как привык, как умел, потому что только в этом регистре мог говорить о ней, не выдавая того, что было под пунктами. — Я могу это остановить. У меня хватает веса в совете, денег в резерве и юристов, чтобы это остановить. Но для этого я должен быть внутри. Платиновый партнёр имеет голос. Аноним в Лихтенштейне — нет.

Дамир слушал. Он всегда слушал так, будто записывал на жёсткий диск, который никогда не сотрётся.

— Это всё? — спросил он.

— Это всё, что относится к делу.

— Я спросил не про дело.

Я молчал.

Чёрная вода. Чёрное небо. И между ними — одна капля света, в которой сейчас, я знал это так же точно, как знал её, не спала женщина, которая ненавидела меня ровно настолько, насколько имела на это право, и ни граммом меньше.

— Одиннадцать лет, Дамир, — сказал я наконец. — Ты возишь мне завтрак к семи. Ты знаешь, во сколько я ложусь, что я пью, когда мне всё равно, и что я пью, когда нет. Ты знаешь обо мне больше, чем мой брат. Скажи: ты хоть раз видел, чтобы я что-то делал не ради дела?

Пауза.

— Один раз, — сказал Дамир.

— Когда.

— Сейчас.

Я не ответил.

Он ушёл — бесшумно, как умел, оставив меня с морем, с огнями и с той тишиной, которая бывает только на воде ночью, когда двигатели заглушены и слышно, как корпус трётся о собственную тень.

* * *

Я спустился в кабинет.

Досье лежали на столе — три папки, ровной стопкой, корешок к корешку, как любил Дамир и как любил я, потому что порядок снаружи — единственный честный способ изобра-

зять порядок внутри. Реннер. Бьянки. Себастьяно Фонти. Я открыл верхнюю и не прочитал ни строчки.

Вместо этого я выдвинул нижний ящик.

Там лежала одна вещь, которую я возил с собой три года и которую не показывал никому, включая Дамира, хотя Дамир, конечно, знал, — Дамир знал всё. Не фотография. Я не из тех, кто хранит фотографии; фотография — это попытка остановить то, что нельзя остановить, и оттого всегда немного ложь.

Камень.

Кусок известняка размером с кулак, с тонкими белыми прожилками и одним отпечатком — спираль, аммонит, существо, которое плавало в этом самом море двести миллионов лет назад и превратилось в камень задолго до того, как кто-то придумал слова «поздно» и «навсегда». Она подобрала его на пляже на Сардинии. Тем самым утром. Вложила мне в ладонь и сказала: «Вот. Чтобы ты помнил, что всё проходит. Даже это». И засмеялась, потому что думала, что шутит.

Я не помню, что ответил. Кажется, ничего. Кажется, просто сжал руку.

Я держал его три года.

Я провёл большим пальцем по спирали — туда-сюда, туда-сюда, по холодному камню, по существу, которое окаменело, потому что не сумело вовремя уйти из воды, — и думал о том, что через три дня войду в зал, полный людей, и среди этих людей будет одна женщина, которая посмотрит на меня глазами цвета воды над песком и не простит мне ни строчки в списке, ни трёх лет молчания, ни — когда узнает, а она узнает, такие вещи всегда всплывают, я просто не знал, когда, — ни тех денег, которые я переводил в темноте, считая, что делаю добро.

Потому что я не знал тогда одной вещи, которую знаю теперь.

Что для такого человека, как Ника Соколова, нет худшего оскорбления, чем спасти её втайне.

Что то, что я считал любовью, она назовёт жалостью.

И что я, человек, умеющий просчитать на двадцать ходов вперёд движение капитала через шесть юрисдикций, не просчитал самого простого: что однажды мне придётся сесть напротив неё и объяснить три года молчания — и у меня по-прежнему не будет слов.

Я положил камень обратно в ящик.

Закрыл его.

Открыл досье на Себастьяно Фонти и начал читать — потому что это я умел, потому что работа не задаёт вопросов, на которые нет ответов, потому что где-то на этом берегу горел свет, который я приехал защищать, даже если защищать его означало сгореть самому.

Через три дня.

Стекло и вода.

И я по одну сторону, она — по другую, и полметра акрила между нами, которые с виду — ничто, а на деле выдерживают давление, способное раздавить человека.

Глава 3. Открытие

Ника

Изумрудное платье я не надела.

Это было первое решение того вечера, и я приняла его в шесть утра, стоя перед открытым шкафом в одном полотенце, с мокрыми волосами и сердцем, которое колотилось так, будто я уже опаздывала, хотя до открытия оставалось тринадцать часов.

Изумрудное платье висело крайним слева. Я его не покупала больше — не для того вечера, я имею в виду то, давнее, на вилле Де Санти, в другой жизни, — но похожее у меня было, и оно висело крайним слева, и я смотрела на него ровно три секунды, после чего сняла с вешалки тёмно-синее. Почти чёрное. Цвета воды на сорока метрах, где свет уже почти весь съеден, а синева ещё держится — последняя, упрямая, на грани.

Броня. Не платье. Броня.

Потому что я очень хорошо понимала, что произойдёт в этом зале сегодня вечером, и единственное, чем я могла управлять, — это в чём я в нём буду стоять.

К восьми вечера «Меридиана» перестала быть моей.

Это всегда странное чувство — отдавать своё пространство людям. Четыре года здание принадлежало воде, насосам, ночной смене и мне. А теперь по главной галерее ходили триста человек в смокингах и платьях, официанты несли подносы с просекко между группами, играл струнный квартет, спрятанный где-то за фикусами, и стеклянный купол, под которым я провела столько ночей в одиночестве, сиял огнями, отражёнными в двух миллионах литров синевы, и был так красив, что у меня перехватывало горло.

Я стояла у входа в галерею и пожимала руки.

Министр. Я улыбнулась. Ректор Генуэзского университета. Я улыбнулась. Директор Океанографического института Монако — старый знакомый, искренне рад, искренне улыбнулась. Сенатор Бьянки с супругой. Председатель совета Густаво Реннер — улыбка чуть короче, потому что Реннер был из тех, кто считает каждое потраченное евро личным оскорблением, и я знала, что рано или поздно он мне это припомнит, просто пока не при свидетелях.

Себастьяно Фонти.

— Никá, — сказал он, нарочно сместив ударение, как делал всегда, превращая моё имя в чужое, итальянское, не моё. Он взял мою руку обеими руками — жест, который должен был выглядеть тёплым, а выглядел так, будто меня берут под стражу. — Какой вечер. Дядя бы гордился.

— Карло бы гордился, — согласилась я. — Он любил, когда центр работал. Кстати о работе — мы наконец закрыли вопрос с долей вашей семьи. Полагаю, вы рады, что он решён.

Что-то мелькнуло в его глазах. Очень быстро. Себастьяно был красив той гладкой, дорожной красотой, которая стоит больших денег и не стоит ничего, и обычно он отлично держал лицо. Но при слове «решён» в этом лице на долю секунды что-то дрогнуло — и я поняла, что он не рад. Что он совсем не рад. Что для Себастьяно Фонти эта доля была не активом, который он наконец сбыл, а рычагом, который у него отняли.

И что отнял его кто-то, кого Себастьяно не сумел переиграть.

— Да, — сказал он, улыбаясь. — Конечно. Очень рад.

Лжец, подумала я с почти родственной нежностью, потому что узнавала лжецов мгновенно — годы практики на самой себе.

Он отошёл. Я выдохнула.

И тогда поменялся воздух.

Я не могу объяснить это иначе. Я учёный, я не верю в флюиды, ауры, поля и шестые чувства, я верю в барорецепторы, в боковую линию рыб, в способность кожи улавливать перепад

давления раньше, чем сознание успеет его осмыслить. Так вот: что-то изменило давление в зале. Я почувствовала это спиной — затылком, лопатками, тем местом между ними, по которому прошёл холодок, — за секунду до того, как услышала, как стих общий гул, на полтона, не больше, как стихает разговор, когда в комнату входит кто-то, на кого все хотят посмотреть и делают вид, что не смотрят.

Я обернулась.

И вот он.

Три года, два месяца и тринадцать дней. Я перестала вести счёт два дня назад, на галерее, а он, оказывается, всё это время вёл себя сам, где-то на задворках, и теперь выдал мне точную цифру, не спросив.

Алекс Вэйн стоял у входа в галерею в чёрном смокинге, который сидел на нём так, как вещи сидят только на людях, которым всё равно, как на них сидят вещи. Он стал старше. Это было первое, что я отметила, — холодно, по-научному, как отмечают изменения в знакомом виде после долгого перерыва в наблюдениях. Седина на висках, которой не было. Резче линия челюсти. Что-то новое вокруг глаз — не усталость, нет, что-то более постоянное, въевшееся, как соль в дерево.

А глаза те же.

Тёмные, почти чёрные, спокойные, с тем оценивающим прищуром, который читает человека за три секунды и редко ошибается. И эти глаза прошли по залу — по министру, по куполу, по двум миллионам литров синевы — равнодушно, бегло, отмечая и отбрасывая, пока не нашли меня.

И остановились.

И всё во мне, что я тринадцать часов одевала в тёмно-синюю броню, мгновенно осталось без одежды.

Дыши, — сказала я себе. — Ты директор Соколова. Ты построила всё это. Ты пожала уже сорок рук. Это сорок первая. Просто ещё одна рука.

Он пошёл ко мне.

Не быстро. Алекс никогда ничего не делал быстро — он двигался с той экономной, выверенной медлительностью, от которой у меня всегда сводило что-то в основании позвоночника, потому что в этой медлительности читалось абсолютное знание того, что ему никуда не нужно спешить, что мир подождёт, что я подожду. Триста человек в зале, и он шёл сквозь них так, будто их не было. Кто-то окликнул его — он не услышал. Или услышал и решил, что это подождёт.

Он остановился передо мной.

Близко. Слишком близко для делового знакомства и недостаточно близко для всего остального, ровно на той дистанции, которую он всегда умел держать, — дистанции, на которой я чувствовала запах. Кедр. Чистое бельё. Соль. Тот же. За три года — тот же, и это было нечестно, это было совершенно нечестно, потому что я сменила духи, сменила причёску, сменила страну, сменила всю свою жизнь, а он просто пришёл и принёс с собой тот же запах, как будто времени не было вовсе.

— Директор Соколова, — сказал он.

Низкий, ровный голос. Дозированный. Он назвал меня по должности, и это было хуже, чем если бы он назвал меня по имени, — потому что в том, как он произнёс «директор Соколова», было больше «Ника», чем в любом «Ника».

— Господин Вэйн. — Мой голос вышел ровным. Я почти восхитилась собой. — Спасибо, что приехали. И спасибо за поддержку проекта.

— Я слежу за вашей работой.

Пауза.

Четыре слова. Он сказал их так же, как говорил всё, — фактом, без нажима, и я секунду не понимала, что меня в них так ударило, а потом поняла. Настоящее время. Не «следил». Слежу. Как будто это никогда не прекращалось. Как будто три года, два месяца и тринадцать дней он сидел где-то и читал отчёты о головоногих, и о грантах, и о центре, который я строила, — и я не знала, правда это или фигура речи, и не могла спросить, потому что вокруг стояли триста человек, и струнный квартет играл что-то нежное за фикусами, и мне нужно было пожать ему руку и пойти дальше.

Я протянула руку.

Ошибка. Я поняла это в тот момент, когда было уже поздно, — потому что он взял её, и его ладонь сомкнулась вокруг моей, тёплая, сухая, большая, и мой большой палец, предатель, тут же оказался прижат к его коже, и я почувствовала, как под этой кожей бьётся пульс — ровный, медленный, спокойный, такой спокойный, что я ему почти поверила, — пока не заметила одну вещь.

Он держал мою руку на секунду дольше, чем нужно.

На одну секунду. Может, на полторы. Ничтожная величина. В любом другом контексте — статистический шум, погрешность измерения. Но я знала этого человека. Я знала, что Алекс Вэйн не делает ничего на секунду дольше, чем нужно, что его движения выверены до миллиметра, что он сам — система, в которой нет места случайной задержке.

И он держал мою руку на секунду дольше, чем нужно.

Я подняла на него глаза.

И на дне его — там, очень глубоко, под спокойствием, под прищуром, под седой бронёй, на той глубине, куда свет почти не доходит, — я увидела это. На долю мгновения. То же, что во мне. Тот же обвал. Та же шахта.

А потом он отпустил мою руку, и всё закрылось, как закрывается раковина, и передо мной снова стоял платиновый партнёр Алекс Вэйн, основатель Wayne Holdings, спокойный, безупречный, чужой.

— Прекрасный центр, — сказал он, глядя мимо меня, на купол, на воду. — Вы построили что-то, что выдержит.

— Я знаю, что я построила.

Уголок его рта дрогнул. Едва-едва. Единственная трещина в броне — я и забыла, что она у него есть, я заставила себя забыть, и вот она снова, и я ненавидела то, как от неё сжалось всё у меня под рёбрами.

— Да, — сказал он. — Знаете.

И тут — спасибо тебе, вселенная, впервые за три дня спасибо — рядом возникла Виттория, безупречная, как удар, со своим планшетом-клатчем и улыбкой, способной растопить ледник или, наоборот, заморозить, в зависимости от задачи.

— Господин Вэйн, какая честь, — пропела она, мягко, но непреклонно вклиниваясь между нами своим телом и своим обаянием. — Директор Соколова через две минуты выступает. Позвольте, я провожу вас к вашему месту в первом ряду.

Первый ряд.

Я оставляла там пустое место. Трижды. И трижды его заполняла.

Теперь я знала, для кого оно было.

— Конечно, — сказал Алекс.

Он посмотрел на меня в последний раз — короткий взгляд, ничего не значащий, деловой, — и пошёл за Витторией к рядам кресел, расставленных перед сценой у подножия главного аквариума. А я осталась стоять, с рукой, которая всё ещё помнила его пульс, и с тёмно-синей бронёй, от которой не осталось ровным счётом ничего, и через две минуты мне нужно было выйти на сцену перед тремястами человек и рассказать им, ровным голосом, без дрожи, о деле всей моей жизни.

Я вышла.

Я говорила восемь минут. Я не помню ни слова. Кажется, это была хорошая речь — мне потом так сказали, мне сказали, что я говорила о море, о том, что мы знаем о нём меньше, чем о поверхности Луны, о том, что центр «Меридиана» — это не аквариум, а признание в любви к тому, чего мы не понимаем, и что любить непонятое — самое честное, на что способен человек. Кажется, в конце аплодировали стоя. Кажется, кто-то плакал. Кажется, я даже улыбнулась.

Я помню только одно.

Что весь восемь минут я смотрела в зал, вверх голов, на дальнюю стену, на отражения огней в воде, — куда угодно, только не в первый ряд. Потому что в первом ряду сидел человек, который слушал меня так, как никто никогда не слушал, — неподвижно, всем телом, не аплодируя, не плача, просто слушал, как слушают то, что давно знают наизусть и всё равно боятся пропустить хоть слово.

И когда я наконец, в последней фразе, не выдержала и посмотрела на него — он смотрел на меня.

И я сбилась.

На полслова. Никто не заметил. Кроме него. И, наверное, кроме осьминога, который в эту секунду, далеко внизу, в синей толще, медленно развернул одну руку и прижал её к стеклу — с той стороны, где сидел, неподвижно, в первом ряду, человек, которого я приехала ненавидеть и который, кажется, приехал за тем же, за чем приезжает прилив.

Чтобы вернуться.

Глава 4. Условия

Алекс

Её кабинет был похож на неё.

Это первое, что я отметил, когда она наконец впустила меня туда — в половине двенадцатого ночи, когда гости разъехались, кейтеринг свернулся, и от трёхсот человек осталась только тишина, гул насосов и мы двое. Кабинет на верхнем этаже, со стеклянной стеной на море. Никаких наград на видном месте — они были, я знал, что они были, но она убрала их куда-то, где их не видно с порога. Зато на подоконнике — кусок известняка с отпечатком чего-то древнего. Засушенная морская звезда. Банка с песком, подписанная от руки выцветшими чернилами: «Эгади, первая точка». Стопки распечаток с подчёркиваниями. Кружка с недопитым кофе, остывшим, наверное, ещё днём.

И полки. Полки с книгами и с несколькими вещами, привезёнными из разных мест, — я узнал кусок коралла, узнал раковину, узнал, на верхней полке, маленькую модель батискафа, которую — я помнил это, я помнил всё — ей подарил Ланге, когда она защитилась.

Рабочее место человека, который любит свою работу больше, чем хочет, чтобы об этом знали.

Она села за стол. Не предложила мне сесть. Я сел сам — в кресло напротив, не торопясь, давая ей время собраться, потому что видел, что ей нужно время, хоть она и не показывала.

Она хорошо держалась. Лучше, чем три года назад. Это было новым — эта собранность, эта корка, эта способность смотреть на меня и не отводить взгляд. Раньше она отводила. Раньше, когда ей было больно или страшно, она смотрела на воду, а не на собеседника. Теперь она смотрела прямо на меня, и в этом взгляде было ровно столько холода, сколько нужно, чтобы я понял: девушка, которая поднялась не на ту яхту, выросла, и выросла она без меня, и об этом мне забывать не следует.

— Зачем ты это сделал, — сказала она.

Без предисловий. Я оценил это. Я всегда ценил в ней то, что она не тратит время на дорогу к сути.

— Что именно, — сказал я.

— Не надо. — Голос ровный, очень тихий. Я знал этот тон. Этот тон означал, что внутри всё горит. — Не делай этого. Не превращай разговор в допрос, где я должна формулировать вопросы достаточно точно, чтобы ты соизволил ответить. Ты выкупил долю Фонти. Ты вошёл в мой центр платиновым партнёром. За три года ты не написал мне ни строчки, а теперь сидишь в моём кресле в полночь. Зачем.

Я мог сказать правду.

Правда сидела у меня в горле, как всегда, плотная, неудобная, без формы. *Затем, что я не мог смотреть на цифру в отчёте и ничего не делать. Затем, что Себастьяно Фонти хочет снести то, что ты построила, и я единственный, кто может его остановить. Затем, что три года я закрывал дыры в твоём фонде из темноты, и теперь темноты больше не хватает.*

Я сказал часть правды. Ту, которую она могла принять.

— Затем, что твой центр через восемь месяцев был бы банкротом, — сказал я. — Дыра после выхода семьи Фонти — четыре миллиона в первый год, ещё столько же во второй. Реннер это знает и ждёт момента, чтобы поставить вопрос о ликвидации. Себастьяно Фонти это знает и ждёт момента, чтобы выкупить всё за бесценку и продать землю девелоперам. Я зашёл раньше них. Это всё.

Она слушала. Лицо неподвижно. Только пальцы — её пальцы, которые никогда не умели врать, — нашли на столе карандаш и стали медленно поворачивать его, грань за гранью.

— Допустим, — сказала она. — Допустим, всё это правда. Допустим, ты благородный спаситель, а не человек, который покупает здание, чтобы войти в дверь, которую перед ним заперли. — Грань. Ещё грань. — Тогда вопрос: чего ты хочешь взамен.

— Ничего.

Карандаш остановился.

— Никто не вкладывает четыре миллиона за «ничего», Алекс.

— Я не «никто».

Это вышло жёстче, чем я хотел. Или ровно так, как хотел, — я не всегда различаю. Она посмотрела на меня, и что-то в её лице дрогнуло, очень коротко, потому что она тоже услышала второй слой, тот, что был под словами. *Я не «никто» для тебя. Я не должен был им стать. Я сам сделал себя «никем», и теперь расплачиваюсь.*

Она положила карандаш.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда условия.

— Условия.

— Если ты собираешься быть частью этого — а ты, как я понимаю, собираешься, потому что ты не из тех, кто вкладывает четыре миллиона и исчезает, — то у нас будут правила. — Она подалась чуть вперёд, и в свете настольной лампы я увидел, что она устала, по-настоящему устала, под бронёй, и что эта усталость старше сегодняшнего вечера, старше меня, и от этого мне стало нехорошо. — Правило первое. Это мой центр. Деньги дают тебе голос в совете и место в первом ряду. Они не дают тебе права решать за меня. Ничего. Никогда.

«Решать за меня».

Она выбрала эти слова не случайно. Она ничего не выбирала случайно — этому, кажется, научилась у меня, и это была самая горькая из всех возможных наград. Потому что «решать за тебя» — это было ровно то, в чём она обвиняла меня тогда, три года назад, в Бостоне, и она это знала, и я это знал, и она бросила мне это через стол спокойным ровным голосом, как бросают камень в воду, чтобы посмотреть, как далеко пойдут круги.

— Согласен, — сказал я.

Она моргнула. Кажется, ждала спора.

— Правило второе, — продолжила она, чуть быстрее. — Между нами — только работа. Никаких разговоров о прошлом. Никаких — она поискала слово, и я смотрел, как она его ищет, и впервые за вечер увидел трещину, — никаких напоминаний. Мы взрослые люди. У нас общее дело. Мы будем вести его как профессионалы, и всё, что было, останется там, где оно есть. В прошлом.

— Согласен, — сказал я.

— Перестань соглашаться.

— Ты ставишь разумные условия. Я разумный человек.

— Ты, — сказала она, и в её голосе впервые за весь вечер прорвалось что-то живое, что-то горячее, что-то настоящее, — ты самый неразумный человек из всех, кого я знаю. Ты просто умеешь хорошо это прятать.

Тишина.

Насосы гудели где-то под нами. За стеклянной стеной лежало чёрное море. Мы смотрели друг на друга через стол, заваленный распечатками о существах, которых никто никогда толком не видел живыми в их собственной тьме, и я думал о том, что согласился слишком легко. Что «только работа» — это правило, которое я нарушу. Что я уже его нарушаю — прямо сейчас, тем, как смотрю на неё, тем, что приехал, тем, что три года вёл счёт дням, не позволяя себе об этом знать.

Я встал.

— Это всё условия? — спросил я.

— Пока всё.

— Тогда у меня одно встречное. — Я застегнул пиджак. — Завтра в девять я хочу полный финансовый аудит центра. Не для совета. Для меня. Я должен видеть, где дыры, прежде чем кто-то другой ткнёт в них пальцем.

Она прищурилась.

— Это похоже на «решать за меня».

— Это похоже на «видеть карту минного поля до того, как на него ступить». — Я выдержал её взгляд. — Себастьяно Фонти уже видит эту карту, Ника. Я хочу, чтобы у тебя она была раньше, чем у него.

Я редко называл её по имени. Я заметил это сам, в ту секунду, когда оно вышло, — заметил, как оно прозвучало в тихом кабинете, как изменилось её лицо, едва-едва, как она тут же это спрятала.

— Ника, — повторил я тише. Зачем — не знаю. Просто чтобы сказать ещё раз. Три года я не произносил это имя вслух. — Я не прошу доверия. Я знаю, что у меня его нет и что я его не заслужил. Я прошу доступа к цифрам. Цифры — единственный язык, на котором мы с тобой никогда не ввали друг другу.

Долгая пауза.

— Девять утра, — сказала она наконец. — Виттория даст тебе всё. И, Алекс. — Она поднялась, обошла стол, открыла дверь, недвусмысленно, окончательно. — Это был последний раз, когда ты назвал меня по имени в этом здании.

Я прошёл мимо неё в дверь. Близко. На секунду — на ту самую секунду дольше, чем нужно, — мы оказались на расстоянии, на котором я снова почувствовал её: новые духи, и под ними, упрямо, всё та же она, соль и тепло и что-то, чему я так и не нашёл названия за три года, хотя у меня было много времени искать.

— Хорошо, — сказал я.

И вышел в коридор, в гул насосов, в синие сумерки галереи, где за стеклом, в двух миллионах литров тьмы, не спал осьминог, и думал о том, что согласился на правило, которое не смогу соблюсти, и что она это знает, и что, может быть, именно поэтому она его и поставила.

Чтобы было что нарушить.

Глава 5. Трещина в смете

Ника

— Объясни мне ещё раз, — сказала я, — почему человек, которого я ненавижу, сидит в переговорной и читает наши бухгалтерские книги, как будто это его право.

— Потому что это технически его право, — сказала Виттория, не отрываясь от кофемашины. — Платиновый партнёр имеет доступ к финансовой отчётности. Это в уставе. Который, напомню, писала ты.

— Я писала его не для него.

— Уставы редко пишут с прицелом на конкретного бывшего.

Я посмотрела на неё. Виттория невозмутимо извлекла из машины два эспрессо, поставила один передо мной и села напротив с таким видом, будто мы обсуждали погоду, а не катастрофу, медленно разворачивающуюся в моей жизни третьи сутки подряд.

— Он не «бывший», — сказала я.

— Конечно.

— Он партнёр.

— Безусловно.

— Перестань.

— Ника. — Она отставила чашку. Утренний свет лился сквозь стеклянную стену, и за этой стеной море было серым, спокойным, безразличным к моим проблемам, как всегда. — Я работаю с тобой три года. Я видела, как ты хоронила Карло. Я видела, как ты выбивала разрешения, которые невозможно было выбить. Я видела, как ты по локоть в резервуаре спасала морских коньков в четыре утра. Я ни разу — ни разу — не видела, чтобы ты не спала из-за мужчины. — Она сделала паузу. — Ты не спала эту ночь.

— Я работала.

— Ты не спала, — повторила она мягко, и это было хуже любого спора, потому что в этом не было спора, только правда, та самая, которую Виттория всегда подавала в самый неудобный момент.

Я опустила взгляд в кофе.

Она была права. Я не спала. Я лежала в темноте своей квартиры в десяти минутах от центра и слушала, как внутри меня бьётся то, что я считала давно похороненным, и проигрывала снова и снова одну секунду — ту, лишнюю, когда он держал мою руку дольше, чем нужно, — и ненавидела себя за то, что проигрываю, и проигрывала снова.

Три года. Я выстроила всю свою жизнь на одном простом постулате: мне никто не нужен. Я доказала это. Я доказывала это каждый день — грантами, статьями, центром, который вырос из котлована на пустом берегу. Я была живым доказательством теоремы «человек может всё сам». И вот приходит он, садится в переговорной, читает мои книги — и одним своим присутствием ставит под сомнение доказательство, на которое я потратила три года.

— Дело не в нём, — сказала я. — Дело в том, что он прав.

Виттория молчала.

— Дыра реальна, — сказала я. — Я знала это и до него. Просто проще было не смотреть. — Я подняла глаза. — Насколько всё плохо, Виттория? По-настоящему. Без округлений в мою пользу.

Она помолчала. А потом сделала то, за что я её и держала: сказала правду.

— Плохо, — сказала она. — Деньги Wayne Holdings закрывают этот год. Но операционные расходы центра выше, чем мы закладывали в проект, — на восемнадцать процентов. Энергия. Жизнеобеспечение. Зарплаты научного штата. Со следующего года, если не

появится постоянный источник, мы снова в минусе. И это, — она выдержала паузу, — без учёта Себастьяно.

— А что Себастьяно?

— А вот это, — сказала Виттория, — тебе лучше услышать не от меня.

Она встала, подошла к двери переговорной и открыла её.

Алекс сидел за длинным столом, окружённый раскрытыми папками, в рубашке с закатанными рукавами — без пиджака, и я почему-то споткнулась взглядом об его предплечья, о вены под кожей, о то, как он держал ручку, и тут же отвела глаза, разозлившись на себя. Рядом с ним лежал планшет с какой-то схемой. Он поднял голову, и на его лице не было ни «доброго утра», ни попытки сгладить, ничего человеческого — только работа, чистая, сосредоточенная, и это, как ни странно, было легче, чем всё остальное.

— Тебе нужно это увидеть, — сказал он.

Я подошла. Встала за его плечом — слишком близко, поняла я, но отойти теперь значило бы признать, что близко, поэтому я осталась. От него пахло кедром. Я заставила себя смотреть на экран.

На экране была схема собственности. Коробочки, стрелки, проценты. В центре — «Меридиана» и фонд Фонти. Вокруг — инвесторы, партнёры, обязательства. А сбоку, отдельной веткой, выделенная красным, шла цепочка компаний с названиями вроде «Лигурия Ди Свилуппо», «Коста Нуова Холдинг», «Марина Проджетти».

— Что это, — спросила я.

— Это Себастьяно Фонти, — сказал Алекс. — Точнее, это то, что он построил за последний год, пока ты строила центр. Девелоперские структуры. Все нацелены на одну точку. — Он провёл пальцем по экрану, и красная ветка сошлась в одну стрелку, указывающую прямо на «Меридиану». — На твою землю. Тридцать тысяч квадратных метров первой береговой линии. По текущей кадастровой — двести миллионов. По девелоперской, после перевода из научного назначения в рекреационное, — четыреста с лишним.

Я смотрела на красную стрелку.

— Он не может, — сказала я. — Земля в долгосрочной аренде у фонда. Целевое назначение — наука. Это прописано.

— Это прописано на пятнадцать лет, — сказал Алекс. — С условием финансовой устойчивости арендатора. — Он посмотрел на меня снизу вверх, и в его глазах не было торжества, только холодный, точный расчёт человека, который видит ловушку. — Если фонд становится неплатёжеспособен — а с дырой в смете это вопрос времени, — аренда расторгается. Земля возвращается в распоряжение учредительной коалиции. В которой у семьи Фонти, даже после продажи доли в центре, остаётся блокирующий голос по земельному вопросу. Юридическая тонкость. Карло никогда бы ею не воспользовался. Себастьяно — воспользуется.

Тишина.

Я выпрямилась. Отошла к окну. Серое море. Серое небо. И где-то под этим серым — стройка, котлован, четыре года жизни, двести человек штата, осьминог по имени Карло, который видит сны.

Так вот оно что. Вот почему лицо Себастьяно дрогнуло при слове «решён». Я думала, я отняла у него рычаг, продав долю. А я просто не видела другого рычага — большего, лучше спрятанного. Он не хотел владеть центром. Он хотел, чтобы центр утонул. Тогда земля вернётся к нему, и на месте моих аквариумов встанут апартаменты с видом на море, которое я отдала всю себя, чтобы защитить.

— Сколько у меня времени, — спросила я, не оборачиваясь.

— До первого финансового триггера — около года, — сказал Алекс. — Если ничего не менять. Меньше, если он ускорит события. А он будет их ускорять. Эко-скандал, проблемы с прессой, давление на меценатов — любая трещина в твоей устойчивости приближает момент.

Год.

Я стояла у стекла и чувствовала, как во мне поднимается то, чего я не чувствовала давно, — не страх, страх я переросла, а холодная, чистая, упрямая ярость, та самая, что досталась мне от деда вместе с характером. Никто не снесёт мой центр. Никто не построит апартаменты на месте, где спит осьминог, который видит сны.

— Хорошо, — сказала я. — Что нам нужно сделать.

«Нам».

Я слышала это слово в ту же секунду, что и он. Я не собиралась его говорить. Оно вышло само — старое, опасное, лёгкое, как будто три года не было, как будто между нами всё ещё было «нам», а не «вам» и «мне». Я увидела, как он услышал. Как что-то прошло по его лицу — быстро, под кожей, как тень рыбы под поверхностью.

Он не стал на это указывать. И за это — за то единственное, что он не сказал, — я почти была ему благодарна.

— Нам нужны три вещи, — сказал он, и в его голосе не было торжества, только спокойствие, на которое мне, чёрт возьми, хотелось опереться, и за это хотение я ненавидела себя сильнее всего. — Постоянный источник дохода, чтобы закрыть дыру и снять земельный триггер. Безупречная репутация, чтобы лишить Себастьяно повода для эко-скандала. И время. — Он встал. Мы оказались близко, у окна, на фоне серого моря. — Первое — это я. Второе — это ты и наука. Третье у нас есть. Год.

— Это очень похоже, — сказала я тихо, — на план, в котором я снова завишу от твоих денег.

— Это очень похоже, — сказал он так же тихо, — на план, в котором мы оба делаем то, что умеем, чтобы спасти то, что ты построила.

Мы стояли у стекла. Близко. Серое море за спиной.

И в эту секунду — спасибо, вселенная, у тебя отвратительное чувство времени — у меня звонил телефон. Я посмотрела на экран.

Виттория. Из соседней комнаты. Звонит, а не входит. Это значило только одно: что-то такое, что нельзя сказать при свидетеле.

Я взяла трубку.

— Что.

— Включи новости, — сказала Виттория. — Прямо сейчас. «Коррьере». Морской раздел. Я открыла браузер. Нашла. Прочитала заголовок.

И почувствовала, как трещина в смете — та, которую мы только что разглядывали на схеме, аккуратную, будущую, годовую, — мгновенно стала настоящим.

— Ника? — сказал Алекс. — Что случилось.

Я повернула к нему экран.

«ЦЕНА ПРОГРЕССА: новый научный центр на лигурийском берегу обвиняют в уничтожении охраняемых лугов морской травы. Эксклюзивное расследование».

И подпись под фотографией бурого, мёртвого участка дна, который — я знала это, я знала каждый метр этого дна — был мёртв задолго до того, как мы вбили первую сваю.

Кьяра Дзанетти.

— Началось, — сказала я.

Глава 6. Сорок метров истории

Алекс

Я наблюдал, как она работает в кризисе, и это было похоже на то, как смотришь на хорошо спроектированную систему под нагрузкой: всё, что в спокойное время выглядит избыточным, вдруг оказывается на своём месте.

К полудню Ника собрала в переговорной восемь человек. К часу у неё на стене висела временная диаграмма: когда вбили первую сваю, когда брали пробы дна, когда — за два года до начала стройки — этот участок был задокументирован как деградировавший в отчёте, который, по счастью, опубликован в рецензируемом журнале с фиксированной датой. К двум она знала, что статья Дзанетти основана на фотографиях без геопривязки и без датировки. К трём она перестала быть в панике и стала опасной.

Я не вмешивался. Это была её война, и она вела её лучше, чем повёл бы я. Я умею воевать деньгами и юристами. Она воевала фактами, и это было красивее.

Но к вечеру стало ясно, что фактов мало.

— Журнальный отчёт двухлетней давности их не убедит, — сказала Виттория, глядя на диаграмму. — Журнальный отчёт скучный. У Дзанетти — фотография мёртвого дна и заголовков про цену прогресса. У нас — таблица. Это не равный бой.

— Тогда дадим им свою фотографию, — сказал я.

Все посмотрели на меня. Я редко говорил на этих совещаниях; я приходил, слушал, считал. Когда я открывал рот, это что-то значило, и они это уже усвоили.

— У вас есть участок дна, который, как вы утверждаете, восстанавливается, — сказал я. — Не мёртвый — восстанавливающийся. Морская трава возвращается. Если это правда —

— Это правда, — сказала Ника.

— Тогда это нужно снять. Под водой. С геопривязкой, с датой, с вами в кадре. Не таблицу. Живое дно. Учёного, который показывает, как природа отвоёвывает то, что у неё отняли годы назад. — Я посмотрел на неё. — Это не таблица. Это история. С историей вы их побьёте.

Тишина в переговорной.

Ника смотрела на меня, и я видел, как она взвешивает — не идею, идея была хорошей, она это понимала, а то, что идея пришла от меня. Это была её вечная дилемма теперь: брать ли хорошее, если оно из моих рук.

— Кто будет снимать, — сказала она наконец.

— У нас есть Маттео, — сказала Виттория. — Он сертифицированный подводный оператор. И он знает участок.

Что-то во мне отметило это имя. Маттео. Я не знал ещё, кто такой Маттео, но что-то отметило — то самое тёмное, старое, не подчиняющееся расчёту, что просыпается в мужчине при определённом тоне, которым женщина в соседней комнате произносит мужское имя. Я отложил это. Это был не тот фронт. Пока.

— Хорошо, — сказала Ника. — Завтра на рассвете. Пока вода спокойная и видимость лучшая. — Она собрала бумаги. — Маттео снимает. Я веду съёмку — я знаю участок лучше всех. — Пауза. Она посмотрела на меня, и я понял, что сейчас произойдёт что-то, чего она сама от себя не ожидала. — И ты.

— Я?

— Ты дайвер. — Это прозвучало почти как обвинение. — Или был им. Мне нужен третий — страхующий, с камерой запасного ракурса. Маттео занят основной съёмкой, я веду. Если ты предлагаешь спасти репутацию центра под водой, ты идёшь под воду. Или это была идея для других.

Это была проверка. Я понял это сразу. Она бросала мне вызов, рассчитывая, что я откажусь, — что у миллиардера найдётся совет директоров, перелёт, что угодно, лишь бы не лезть в пятнадцатиградусную воду на рассвете. И тогда она сможет сказать себе: вот, видишь, он только на словах.

— В шесть, — сказал я. — Где брать снаряжение.

Что-то мелькнуло в её лице. Я так и не научился до конца читать это «что-то». Может, разочарование, что я не отступил. Может, наоборот.

— Дайвинг-центр на нижнем уровне, — сказала она. — Скажи, что от меня. — И, уже в дверях, не оборачиваясь: — Надеюсь, ты не растерял форму, Вэйн. Сорок метров не прощают людей, которые три года просидели в кабинетах.

— Сорок метров, — сказал я ей в спину, — не прощают только тех, кто перестал уважать воду. Я не перестал.

Она остановилась. На секунду. На ту самую секунду дольше, чем нужно.

А потом ушла.

* * *

Рассвет над лигурийским берегом был серо-розовым, тихим, с тем особым штилем, который бывает только в первые часы, до того, как проснётся ветер. «Посейдон» — да, тот самый «Посейдон», и Марко на мостике, который при виде меня поднял бровь и не сказал ничего, что было хуже всех слов, — вышел из марины в половине шестого и встал на якорь над участком в шесть.

Я проверял снаряжение на палубе, когда она поднялась из каюты в гидрокостюме.

Я отвернулся. Я заставил себя отвернуться, потому что три года — это много, но это, как выяснилось, недостаточно, чтобы спокойно смотреть на Нику Соколову в гидрокостюме на рассвете, с волосами, собранными назад, без брони, без должности, без тёмно-синего платья, — только она, и вода, и то, что между нами, и что я обещал не трогать.

Маттео оказался молодым. Это было первое, что я отметил, когда он вышел на палубу, — молодой, лет двадцать восемь, с открытым тёплым лицом человека, который ещё не научился прятать то, что чувствует. Он смотрел на Нику так, как смотрят на солнце, — шурясь, восхищённо, не до конца отдавая себе отчёт. Я отметил это холодно, по пунктам, как отмечал всё. И отметил, что мне это не нравится, тоже холодно, по пунктам, и убрал подальше, потому что это был не тот фронт.

— Господин Вэйн. — Маттео протянул руку. Крепкое, честное рукопожатие. — Маттео Сарти. Ника говорила, вы дайвер.

— Был, — сказал я. — Давно.

— Это как велосипед, — улыбнулся он. — Тело помнит.

— Тело помнит, — согласился я и посмотрел на Нику, которая в эту секунду застёгивала жилет-компенсатор и делала вид, что не слышит, и по тому, как застыли на мгновение её руки, я понял, что она услышала, и что она тоже знает, что тело помнит, и что это самая опасная вещь на свете.

Мы ушли под воду в шесть пятнадцать.

И вот тут случилось то, чего я не ожидал.

Я забыл.

Не буквально — я помнил, кто я, зачем здесь, что Себастьяно Фонти точит зуб на этот берег, что в кабинете в Лондоне меня ждёт совет, что между мной и женщиной в трёх метрах подо мной три года и одна закрытая дверь. Я помнил всё это на поверхности. А под водой — забыл.

Потому что под водой нет слов.

В этом всё дело. Я человек слов — точных, дозированных, выстроенных в системы. Вся моя жизнь — это слова: контракты, условия, цифры, которые тоже слова, только строже. А

вода отнимает слова. Под водой нельзя говорить, нельзя объяснять, нельзя строить мосты из фраз. Под водой остаётся только тело, и взгляд, и жесты, и доверие — потому что на сорока метрах ты буквально доверяешь другому человеку свою жизнь, и это не метафора, это физика.

И вот мы спускались вдоль склона — Маттео впереди с основной камерой, я сбоку и выше со страхующей, Ника в центре, ведущая, — и я смотрел, как она движется в воде, и понимал, что вижу её настоящую впервые за три года.

На суше она была директором Соколовой. Бронёй и должностью. А здесь, в синей толще, в косом утреннем свете, который ломался на её гидрокостюме и рассыпался пузырями, она была собой — той, в которую я когда-то, на этом самом море, провалился, как проваливаются в воду, сразу, всем телом. Она двигалась так, будто родилась здесь. Каждый жест экономный, точный — экономнее моих, точнее, — она не плыла, она принадлежала. Она показала рукой: туда. Я пошёл туда.

И там было дно.

Не мёртвое. Дзанетти сняла мёртвый бурый участок — старый, я видел теперь, годами мёртвый, изрытый следами незаконного драгирования. А рядом, метрах в двадцати, начиналось живое: молодая морская трава, ярко-зелёные ленты, поднимающиеся из песка, целые поля, дрожащие в течении, и в них — жизнь, мальки, каракатица, метнувшаяся в сторону, сменяв цвет, краб, поднявший клешню. Дно отвоёвывало себя. Природа возвращала то, что у неё отняли. И Ника зависла над этим полем, медленно поведя рукой, показывая Маттео ракурс, а потом обернулась ко мне — проверить, снимаю ли я запасной, — и наши взгляды встретились через маски, через воду, через три года.

И она показала мне знак.

Не рабочий. Не «снимай», не «всё в порядке», не «всплываем». Старый. Наш. Тот, что мы придумали когда-то, на этом самом море, на первом совместном погружении, — сжатый кулак, потом раскрытая ладонь, прижатая к груди, к тому месту, где под неопреном бьётся сердце. Он означал «смотри». Просто «смотри». «Смотри, как красиво». «Смотри, ради этого всё».

Она показала мне его машинально. Я видел, что машинально, — рука сделала это сама, раньше головы, как мой большой палец делает круги по камню. И в ту же секунду, когда жест закончился, я увидел, как она поняла, что сделала. Как застыла. Как отдёрнула руку.

Но было поздно.

Я уже ответил.

Сжатый кулак. Раскрытая ладонь к груди. Смотри.

Мы висели в синей толще над полем живой травы, в косом свете рассвета, в сорока метрах от мира, где были правила, должности и три года, и говорили друг другу на языке, который придумали, когда ещё были «мы», единственное слово, которое нам и тогда давалось без труда: смотри.

Маттео что-то показывал — кадр, ракурс, работа. Я его не видел. Она тоже.

А потом она резко отвернулась, дала знак «продолжаем съёмку», и стала директором Соколовой обратно — здесь, на сорока метрах, где это было почти невозможно, она всё равно сумела, и это сказало мне о её силе больше, чем всё, что было на суше.

Но я знал то, чего теперь не знала только она.

«Только работа» закончилось. Оно закончилось не в шторм, не в постели, не через месяцы. Оно закончилось здесь, на рассвете, на глубине, на одном старом жесте, который её рука сделала сама.

Тело помнит, сказал Маттео.

Тело помнит, мальчик. В этом вся беда.

Глава 7. Посидония

Ника

Я не спала вторую ночь подряд, и на этот раз даже не притворялась, что из-за работы.

Из-за работы тоже. Монтаж подводного материала шёл всю ночь — Маттео сидел в аппаратной, я рядом, мы собирали трёхминутный ролик, который должен был побить статью Дзанетти: живое дно, восстановление, я в кадре, объясняющая на двух языках, что этот участок был погублен незаконным драгированием за годы до стройки и что центр не убивает море, а лечит его. Это была хорошая работа. К четырём утра у нас был хороший ролик.

Но не из-за него я не спала.

Я не спала из-за одного жеста.

Сжатый кулак. Раскрытая ладонь. Смотри.

Я сделала его сама. Рука сделала. Я даже не успела подумать — она просто сделала, как делала сто раз когда-то, на этом самом море, в той самой воде, и в ту секунду, когда я поняла, что натворила, было уже поздно, потому что он уже ответил, и мы висели на сорока метрах и говорили друг другу «смотри», и это было хуже, чем если бы он меня поцеловал, потому что поцелуй — это тело, а этот жест был — память. А память не сотрёшь монтажом.

Я лежала в темноте и злилась.

На руку. На него. На себя. На воду, которая отнимает слова и оставляет только правду. На три года, которые, как выяснилось, не стёрли ни одного знака из нашего тайного языка, — он лежал во мне весь, целиком, как лежит на дне затонувший корабль: не видно с поверхности, но он там, и в любую секунду можно нырнуть и потрогать.

В семь утра я сдалась, встала и поехала в центр.

Ролик мы выпустили в девять. К полудню его посмотрели двести тысяч раз. К вечеру — миллион. «Коррьере» опубликовал опровержение — мелким шрифтом, неохотно, но опубликовал. Сенатор Бьянки написал, что «наука должна защищаться фактами, и сегодня она это сделала». Густаво Реннер прислал сухое «приемлемый результат», что в переводе с языка Реннера означало бурную овацию.

Мы победили в первой стычке.

Я должна была радоваться. Я и радовалась — той частью себя, что была директором. Но другая часть, та, что не спала две ночи, знала правду: это была стычка, не война. Дзанетти не отступит. За Дзанетти стоял кто-то, кто дал ей фотографии без геопривязки и подсказал угол. И я знала, кто. И знал Алекс.

Он нашёл меня вечером в галерее.

Я опять стояла у стекла — у меня это, видимо, диагноз, — глядя, как осьминог разворачивается в синем свете. Я слышала его шаги раньше, чем увидела отражение. Я уже научилась узнавать его шаги: медленные, ровные, без спешки. Я не обернулась.

— Хороший ролик, — сказал он.

— Я знаю.

— Знаешь. — Я слышала в его голосе ту трещину, тот уголок рта, и возненавидела, как от неё что-то отозвалось во мне. Он встал рядом — не близко, на правильном расстоянии, том самом, на котором я всё равно чувствовала кедр и соль. — Дзанетти не остановится.

— Знаю.

— Кто-то её кормит.

— Себастьяно.

— Себастьяно, — согласился он. Пауза. — Но доказать мы пока не можем. А значит, она ударит снова, под другим углом. И в следующий раз у нас может не оказаться готового ответа.

Я смотрела на осьминога. Карло подплыл к стеклу, завис напротив, сменил цвет — от бурого к бледному. Я уже почти верила, что он делает это, когда рядом стоит Алекс. Что он чувствует то же давление в зале, что и я.

— Что ты предлагаешь, — сказала я.

— Перестать защищаться. — Он повернулся ко мне, и я почувствовала это, не глядя. — Каждый раз, когда мы отбиваем удар Дзанетти, мы играем на её поле. Она нападает — мы оправдываемся. Даже когда мы выигрываем, мы выглядим как те, кому есть в чём оправдываться. Нужно сменить поле.

— Как.

— Дать науку, которую невозможно атаковать. Не опровержение — открытие. — Он смотрел на воду, на осьминога, и говорил тихо, ровно, и я ловила себя на том, что слушаю не слова, а голос. — У тебя есть программа по картированию лугов посидонии вдоль всего лигурийского побережья. Я читал. Она заморожена — нет финансирования. Разморозь. Полная экспедиция. Не один участок — всё побережье. Карта восстановления морской травы как климатического щита. Это не оборона. Это знамя. Если центр станет тем местом, которое спасает Средиземное море, а не тем, которое его губит, Дзанетти и Себастьяно останутся только молчать.

Я молчала.

Потому что это было блестяще. Потому что это было именно то, что нужно. Потому что это превращало нас из обороняющихся в наступающих, и снимало эко-вопрос, и давало центру миссию, под которую можно собрать и меценатов, и гранты, и город.

И потому что для этого нужна была полевая экспедиция вдоль всего побережья. Недели в море. На «Посейдоне». С ним.

— Ты читал мою замороженную программу, — сказала я.

— Я слежу за твоей работой.

Опять настоящее время. Опять это «слежу», брошенное так же ровно, как всё, что он говорил, и так же бьющее под рёбра. Я наконец обернулась к нему. Мы стояли в синем сумраке галереи, отражения воды дрожали на его лице, на седине у висков, и я подумала — против воли, предательски, — что он стал красивее. Что годы, которые меня сделали жёстче, его сделали глубже. Это было невыносимо.

— Алекс, — сказала я. — Эта экспедиция — это недели в море. На одном судне. Ты понимаешь, о чём просишь.

— Я понимаю, о чём прошу. — Его голос не дрогнул. Но что-то в нём — на самой глубине, там, куда не доходит свет, — дрогнуло, и я это услышала. — Я прошу спасти то, что ты построила. Способом, который у нас работает. Море. Данные. Факты. — Пауза. — Если тебе нужен другой руководитель экспедиции в роли спонсора — назови. Я останусь на берегу. Я не настаиваю на том, чтобы идти.

И вот это меня и добило.

Потому что он давал мне выход. Он, человек, который покупает здания, чтобы войти в дверь, предлагал мне дверь — открытую, честную: скажи нет, и я останусь на берегу. И я поняла, стоя в синем сумраке над спящим осьминогом, что хуже всего не то, что он навязывается.

Хуже всего то, что он не навязывается.

Что выбор — мой. Что если он пойдёт в эту экспедицию, то потому, что я этого захочу. Что вся ответственность за то, что произойдёт в неделях на одном судне в открытом море, ляжет не на его деньги, не на его план, не на обстоятельства, а на меня — на директора Соколову, которая знает, что тело помнит, и всё равно говорит «да».

Осьминог за стеклом медленно поднял одну руку и прижал её к акрилу. К тому месту, за которым стоял Алекс.

— Когда ты успел стать таким, — сказала я тихо. — Таким, что не давишь.
Он долго молчал.

— Я учился, — сказал он наконец. — Три года. У человека, которого потерял из-за того, что давил.

Тишина.

Насосы гудели под нами. Море дышало за стенами. И я стояла на краю решения, которое определит всё, и знала — уже знала, рука уже знала, она снова сделала это раньше головы, — что я скажу.

— Через две недели, — сказала я. — «Посейдон». Полное побережье. — Я повернулась к выходу, чтобы не видеть его лица, чтобы он не видел моего. — И, Вэйн.

— Что.

— Это профессиональное решение. Не личное.

— Конечно, — сказал он мне в спину.

И я услышала — отчётливо, в пустой галерее, над спящим морем — что он не поверил ни единому слову.

Потому что я и сама не верила.

Глава 8. Правила

Алекс

Я составил список.

Это, наверное, требует объяснения, потому что человек, который составляет список правил поведения с женщиной, с которой ему предстоит две недели прожить на одном пятидесятиметровом судне, выглядит либо как педант, либо как трус. Я — и то, и другое. Я давно с этим смирился. Список — это то, что я делаю, когда не контролирую ситуацию: я строю систему, потому что система создаёт иллюзию, что хаос можно расчертить на клетки и подписать.

Я сидел в каюте «Meridian» — своей яхты, не «Посейдона», на котором мне предстояло идти, — за двенадцать часов до выхода экспедиции, с бокалом скотча, к которому не притронулся, и писал. От руки. На бумаге. Потому что то, что записано от руки, кажется серьёзнее, а мне нужно было, чтобы это было серьёзно.

Правила.

Правило первое. Не прикасаться. Ни при каких обстоятельствах, кроме профессионально необходимых — страховка под водой, передача снаряжения. Прикосновение есть точка входа. Закрывать точку входа.

Я перечитал. Звучало как протокол кибербезопасности. Это меня устраивало. С кибербезопасностью я умел обращаться.

Правило второе. Не вспоминать вслух. Прошлое — это территория, на которую у меня нет права доступа. Она закрыла дверь. Я её закрыл первым. Не открывать.

Правило третье. Не оставаться вдвоём после захода солнца. Днём есть работа, команда, цели, протоколы. Ночью есть только палуба, звёзды и то, что мы оба слишком хорошо помним. Ночь — это вода без дна. Не входить в воду без дна.

Правило четвёртое.

Я остановился.

Я смотрел на «Правило четвёртое» довольно долго, и за окном иллюминатора темнело, и огни марины зажигались один за другим, отражаясь в чёрной воде, и я понимал, что не знаю, что писать дальше, потому что все правила, которые я мог придумать, были вариациями одного: *не люби её снова*. А это правило бессмысленно записывать, потому что оно предполагает, что я когда-то перестал.

Я не перестал. В этом и заключалась вся арифметика последних трёх лет, вся её безжалостная простота. Я не разлюбил Нику Соколову. Я просто перестал быть рядом с ней, что не одно и то же, хотя издали выглядит похоже. Любовь не ушла. Она просто легла на дно, как ложится осадок в неподвижной воде, — и стоило воде шевельнуться, как всё поднялось обратно, муть и боль, и тот старый знак под водой, и её рука, которая сделала его раньше головы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.